
Робинзон Кузо
и сердце, которое звенело, как монета
Антон Шешуков

Антон Шешуков

Робинзон Кузо и сердце, которое звенело, как монета

«Автор»
2026

Шешуков А.

Робинзон Кузо и сердце, которое звенело, как монета /
А. Шешуков — «Автор», 2026

Кузо мечтает поскорее отправиться на север искать маму. Но кораблю мешают льды, а до весны ещё девяносто дней. В тумане друзья встречают огромную «Полную Чашу» — корабль, где волшебная чаша умеет удваивать золото.Кажется, теперь Кузо сможет купить всё, что нужно для путешествия. Но почему обитатели корабля всё время считают монеты, а в красных фонарях стучат огоньки?

© Шешуков А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Девяносто дней — это сколько? 5
Глава 2. Жирафа, которую звали чудом 8
Глава 3. Чаша, в которой всего становится два 10
Глава 4. Монета на верёвочке 13
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Антон Шешуков
Робинзон Кузо и сердце, которое звенело, как монета

Глава 1. Девяносто дней — это сколько?

Неделю «Сполох» шёл на восток. Сухая Ладонь с её туманом и сурикатами осталась за кормой, и вода за бортом с каждым днём теплела. Барсур вёл корабль в тёплые моря — переждать зиму. На север сейчас не пройти: там паковый лёд — толстый, многолетний, его не всякий ледокол возьмёт.

А Кузо очень хотелось на север.

Сто двенадцать матросов, которые когда-то тайком ушли искать его маму, прислали письмо: «Живы. Нашли того, кто её видел. Идут на север». Они шли. А Кузо плыл в другую сторону, лежал на тёплой палубе и считал дни. Лежал он всегда мордой к левому борту: там был север. Если долго смотреть в одну сторону, кажется, что она становится ближе. Не становилась.

— Девяносто, — объявила за завтраком Пуговка и зачеркнула клеточку в блокноте.

— Девяносто — это сколько? — спросил Кузо.

— Это девяносто.

— Нет. Это сколько, если ждать?

Пуговка подумала.

— Если ждать, это примерно в три раза дольше, — честно сказала она.

— Как тесто, — пробасил Брамс из камбуза. — Пока смотришь, ни за что не подойдёт.

Кузо вздохнул так, что с его тарелки слетела крошка.

— Был бы у меня ледокол, — сказал он. — Настоящий, железный. Или ковёр-самолёт с автопилотом. Я бы уже летел.

— Ковёр-самолёт, — сказал Брамс и поставил на стол миску с оладьями. Брамс был барсук и кок, и всё на свете он мерил едой. — Знаю я эти ковры. Видел один в порту. Хозяин просил за него как за три таких корабля. И ещё сверху мешок изюма.

— А у нас есть три корабля?

— У нас есть один корабль. И полмешка изюма.

— А деньги у нас есть?

За столом стало тихо. Даже Уголёк в печке перестал потрескивать. Уголёк был дух очага, маленький огонёк с характером, и обычно он трещал без остановки.

— Деньги есть у капитана, — сказал наконец Брамс. — На муку, на смолу и на всякий случай.

Кузо задумался. За всю жизнь у него не было ни одной монетки. В деревне за забором дед ничего не покупал: свои яблоки, своя рыба, а что нужно — меняли у соседей. На корабле всё было общее. Кузо вдруг понял, что даже не знает, зачем нужны деньги.

— А что такое деньги? — спросил он. — По-настоящему.

Пуговка обрадовалась: она любила вопросы, на которые можно ответить на пальцах. И положила перед Брамсом оладью.

— Вот. Брамс испёк оладью. А я её хочу. У меня есть гвозди, а у Брамса оладьи. Меняемся?

— Мне не нужны гвозди, — сказал Брамс и съел оладью.

— Вот! — Пуговка подняла палец. — В этом и беда. Мне нужна оладья, а ему не нужны гвозди. Меняться неудобно. Поэтому давным-давно придумали вещь, которую берут все. Не

потому, что её можно съесть, а потому, что на неё потом можно выменять что угодно. Сначала это были красивые ракушки. Маленькие, белые, гладкие. Потом ракушек стало не хватать, и начали делать монеты: из меди, из серебра, из золота.

— То есть деньги — это ракушка, о которой все договорились?

— Да, — сказала Пуговка. — Именно так.

Кузо помолчал.

— Значит, если бы у меня было много ракушек, о которых все договорились, я бы купил ледокол.

— Наверное, — осторожно сказала Пуговка.

Барсур, который всё это время пил чай и смотрел в окно, отставил кружку.

— Ледоколы не продают в тёплых морях, — сказал он. — Тут льда нет.

И пошёл на мостик.

Вечером Кузо, как всегда, считал мачты. Теперь они делали это с Барсуром вдвоём. Старый капитан говорил медленно, будто здоровался с каждой мачтой за лапу.

— Раз.

— Два.

Мачты скрипели. В тёплых морях они скрипели лениво и довольно: так скрипит кресло, в котором кто-то долго сидел. Кузо немного слышал, о чём они скрипят. Не словами — так слышишь чужой разговор за стенкой: слов не разобрать, но понятно, весело там или грустно.

Шестая скрипнула сонно. А седьмая — та самая, на которой были две зарубки, — вдруг скрипнула тревожно, коротко, будто хотела что-то сказать и передумала.

— Ты слышал? — спросил Кузо.

— Что?

— Седьмая.

Барсур положил лапу на мачту и долго молчал.

— Семь, — сказал он наконец. — Спать.

Ночью Кузо проснулся оттого, что пахло чаем.

Не тем, что заваривал Брамс, — тот пах веником и мятой. Этот пах дымом и цветами. Кузо вышел на палубу. «Сполох» стоял в тумане, тёплом, как пар над кастрюлей, и таком густом, что Кузо не видел собственного хвоста.

Где-то далеко ударил гонг.

Бом-м-м.

Звук был низкий и долгий, он шёл не по воздуху, а будто по воде, и палуба под лапами чуть-чуть задрожала. Кузо вцепился в поручень.

На палубу выбежала Пуговка в ночной рубашке и с фонарём. За ней, шлёпая тапками, вышел Брамс. Последним появился Барсур, совершенно одетый, будто и не ложился.

— Гонг, — сказал Брамс. — Это кто ж так гудит посреди моря?

Бом-м-м.

В тумане загорелись огни. Сначала один — красный, круглый, как ягода. Потом второй, третий. Потом их стало столько, что Кузо сбился со счёта. Огни висели выше мачт «Сполоха» и медленно плыли навстречу.

А потом из тумана выступил нос корабля.

Кузо сначала решил, что это берег с домами. Над водой поднимались четыре палубы, одна над другой, как этажи. На носу был нарисован большой круглый глаз с чёрным зрачком, и глаз смотрел прямо на них. Паруса были красные, с тонкими рёбрами поперёк, как у веера.

— Мачты, — прошептал Кузо. Он не мог не считать. — Раз. Два. Три…

Он досчитал до восьми. А потом увидел ещё одну. Вернее, не мачту — пенёк. Толстый обломок там, где когда-то стояла девятая.

— Восемь, — сказал Кузо. — И пенёк.

Корабль-остров остановился совсем рядом со «Сполохом» — хоть перепрыгивай. С его борта тянуло чаем и чем-то металлическим, как от горсти монет.

Сверху донёсся тихий, вежливый голос:

— Добро пожаловать на «Полную Чашу». Здесь всего хватает. На всех.

Вопрос дня: зачем кораблю нарисованные глаза?

Глава 2. Жирафа, которую звали чудом

Утром туман не ушёл, а только поредел. Теперь «Полную Чашу» было видно целиком, и от этого она казалась ещё больше.

Её борта были выкрашены красным и золотым. Вдоль каждой палубы висели фонари — сотни круглых красных фонарей из тонкой бумаги, натянутой на бамбуковые обручи. Они горели даже днём. Рёбра на парусах оказались бамбуковыми рейками. Когда ветер стих, матросы потянули за верёвки, и парус сложился сверху вниз, гармошкой, как веер в лапе у дамы.

— Удобно, — сказала Пуговка. Она смотрела на паруса так, как Брамс смотрит на чужой пирог: с уважением и завистью. — Рейка держит парус ровно. Порвётся одна полоска — остальные не поползут. И сворачивать быстро.

— А глаз на носу зачем? — спросил Кузо. Глаз смотрел на него с самого утра, и от этого хотелось причесаться.

— Чтобы корабль видел дорогу, — сказал Барсур. — Так говорят на Востоке. Старый обычай.

— Он правда видит?

— Он нарисован.

Борт «Полной Чаши» поднимался над ними, как стена дома, и никакого трапа не было.

И тут сверху опустилась шея.

Длинная, пятнистая, в рыжих заплатках на светлом. Она опускалась, и опускалась, и опускалась, будто её кто-то разматывал с катушки. На конце шеи была голова с двумя коротенькими рожками, большими влажными глазами и ресницами, длинными, как кисточки. В зубах голова держала верёвочную лестницу.

Лестница упала на палубу «Сполоха».

— Поднимайтесь, — сказала голова. Голос был медленный и мягкий. — Простите, что так. Трап убрали пятьсот лет назад. С тех пор к нам никто не поднимался.

Брамс сел прямо на палубу.

— Это кто? — шёпотом спросил он.

— Жираф, — так же шёпотом ответила Пуговка. — Я видела картинку. Они живут в жарких степях и едят листья с самых высоких деревьев.

— Жирафа, — поправила голова. — Меня зовут Малинди. Но здесь все зовут меня Цилинь.

Они поднялись. Последним лез Брамс и всё время ворчал, что лестницы придумали для мышей. Наверху их ждала Малинди — целиком. Голова её приходилась вровень с нижними рейками парусов, ноги были как четыре колонны, а на одном рожке висела крошечная резная тыквочка на шнурке.

— Что такое Цилинь? — спросил Кузо.

— Чудо-зверь, — ответила Малинди. — В тех краях, откуда этот корабль, верят: к мудрому и доброму правителю приходит цилинь. Он ступает так легко, что не мнёт ни травинки. А от плохого правителя цилинь отворачивается. Меня везли императору в подарок из жаркой страны. Там никто никогда не видел жирафа. Все посмотрели на мою шею, на рожки и сказали: это цилинь. Значит, император у нас мудрый. Мне надели золотую уздечку. И я… — она чуть смутилась, — я пятьсот лет стараюсь быть цилинем. Хожу аккуратно. Не мну траву. Отворачиваюсь от тех, кто виноват.

— А ты правда не цилинь? — спросил Кузо.

— Я жирафа, — сказала Малинди. — Но когда тебя долго называют чудом, становится неловко им не быть.

Палуба «Полной Чаши» была огромной, как площадь. По ней ходили матросы. Кузо смотрел на них и не мог понять, что не так.

Матросы были самые разные, будто их собрали со всех берегов на свете. Высокая цапля в синей куртке. Два гнома в одинаковых шапках. Ящерица с гребнем. Человек в халате с широкими рукавами. Медведь. Черепаха. Все они были вежливые. Все кланялись. И у каждого на поясе висели деревянные счёты — рамка с проволочками, на которые нанизаны костяшки.

Щёлк-щёлк. Щёлк-щёлк.

Матросы шли и считали. Мыли палубу — и считали. Ели рис — и считали. Никто не смеялся. Никто не спорил. Никто не смотрел на море.

— Они какие-то… бледные, — шепнул Кузо.

— Холодные, — сказал Уголёк. Он ехал на плече у Брамса в маленьком медном котелке. — Я огонь, меня не проведёшь. Тут все холодные. Как печка, которую неделю не топили.

— А кто ваш капитан? — спросила Пуговка.

— Адмирал Бао, — ответила Малинди. — Он вёл этот корабль. Но адмирал давно ушёл.

— Куда?

Малинди не ответила.

С тыквочки на её рожке донёсся звук: тихое, неуверенное «цир-р». Потом ещё раз: «цир-р».

— Кто это там? — спросил Брамс.

— Цюй-Цюй, — сказала Малинди. — Сверчок. Мой единственный друг на корабле. Раньше он пел целыми днями. А теперь всё реже и реже.

И тут Кузо заметил, что Барсур остановился.

Барсур никогда не останавливался посреди дороги. Он ходил по палубе так, будто знал каждую доску наизусть: уверенно и не глядя. А тут встал как вкопанный.

У борта сидел матрос в полосатой тельняшке. Гладкий, тёмно-серый, с маленькими ушками, с усами, как у кота, и с ластами вместо лап. Он сидел, опустив голову, и передвигал костяшки на счётах. Щёлк. Щёлк.

Барсур смотрел на него.

Матрос не поднял головы.

— Кто это? — спросил Кузо.

— Никто, — сказал Барсур. Голос у него был странный. — Показалось.

Но он ещё долго не отводил глаз.

В эту минуту по палубе прошла тень. Кузо поднял голову. Над верхней палубой, медленно и важно, проплыло что-то большое и золотое. Звякнуло — будто кто-то пересыпал из ладони в ладонь горсть монет. И скрылось внизу, в люке, который вёл в трюм.

Матросы склонились ещё ниже. Щёлк-щёлк стало быстрее.

А Малинди отвернулась. Медленно, всей своей длинной шеей. Как отворачиваются от того, кто виноват.

Вопрос дня: почему Барсур не может отвести глаз от чужого матроса?

Глава 3. Чаша, в которой всего становится два

— Вы хотите видеть Хозяина? — спросила Малинди, не глядя на люк, куда скрылось золотое. — Он сам вас позовёт. Он всех зовёт.

И правда: скоро на палубу поднялся матрос-цапля, поклонился и сказал:

— Хозяин Чаши просит гостей в трюм. Чай уже налит.

Трюм «Полной Чаши» был не трюм, а целый подземный город. Лестница уходила вниз, в полутьму, и по стенам вдоль неё висели сотни красных фонарей, один над другим, как ягоды на ветке. Внутри каждого горел маленький огонёк. Кто-то ровно, кто-то едва-едва.

Уголёк на плече у Брамса вдруг затих.

— Вы слышите? — прошептал он.

— Что?

— Фонари. Они стучат.

Кузо прислушался. Фонари покачивались и молчали.

— Ничего они не стучат, — сказал Брамс. — Это у тебя от сырости.

— Стучат! Тук… тук… Как маленькие барабаны. Я огонь, я слышу, как бьётся всё, что горит!

— В прошлый раз ты слышал, как поёт кастрюля, — напомнила Пуговка.

— Она пела!

Уголёк обиженно потемнел и больше не сказал ни слова. Кузо оглянулся на ближний фонарь. Огонёк в нём, кажется, вздрогнул. Или показалось.

Внизу, в огромном сумрачном зале, лежало золото: монеты, слитки, чаши, браслеты — горкой в дальнем углу. Горка была выше Брамса, но в таком зале казалась кучкой песка на полу сарая.

— Одна шестьдесят четвёртая, — сказала Пуговка. Она прикинула на глаз и записала в блокнот. — Если трюм — это пирог, а пирог разрезать на шестьдесят четыре куска, то золото занимает один кусочек.

А посередине зала стояла Чаша.

Она была большая, бронзовая, позеленевшая от времени, и такая широкая, что в ней мог бы выкупаться Брамс. По краю сидели бронзовые лягушки — штук двадцать, с открытыми ртами, будто собрались петь.

— Про неё есть сказка, — сказала Малинди, низко пригнув шею под балками. — Один бедный добрый человек спас корзину лягушек, а лягушки подарили ему глиняную миску. Что в неё положишь, того станет больше.

— Добрая сказка, — сказал Брамс.

— Сказка добрая, — согласилась Малинди. — Только человек тот был добрый.

Звякнуло.

С горки золота поднялся зверь.

Он был похож на льва, только золотого с головы до хвоста. За спиной у него были сложены два крыла, а на лбу рос один короткий загнутый рог. Глаза у зверя были круглые и блестящие, как две новые монеты. На когте передней лапы сидело кольцо из зелёного камня.

Зверь потянулся, зевнул — и Кузо увидел, что у него во рту монета. Зверь проглотил её. Звякнуло.

— Пиксю, — тихо сказала Малинди и отвернулась.

— Хозяин Чаши, — поправил зверь. И поклонился — глубоко, по-старинному, сложив лапы. — Простите, что принимаю в трюме. Наверху мне холодно. Тут — моё. Садитесь, пейте чай.

Чай был тот самый, что пах ночью в тумане. Кузо отхлебнул, и стало тепло, спокойно и немножко сонно. Брамс после второй чашки зевнул так, что щёлкнули зубы.

— Вы едите деньги? — спросил Кузо. Не очень вежливо, но очень хотелось знать.

— Я их берегу, — ответил пиксю. — Что попало внутрь, то не пропадёт. Видите ли, у меня есть рот, но нет никакого выхода. Всё — внутрь. Ничего — наружу. Самое надёжное место на свете.

— А зачем столько беречь?

— Этот корабль вёз сокровища в дальние страны. На обратном пути — домой. А дома был голод. Понимаете? Голод. Кто раздаёт по дороге, тот довезёт пустой трюм. Поэтому — ни одной монеты. Ни одной. Пусть хоть кто-то донесёт всё до конца.

Брамс неловко поставил чашку. Голод — это было то, чего Брамс не выносил даже в сказках.

— Это правильно, — тихо сказал Кузо. — Если дома голодают.

— Вот! — Пиксю обрадовался так, что у него зазвенели крылья. — Вы понимаете. Вы тоже кого-то ищете. Я вижу. У вас глаза человека… простите, кота, который считает дни.

Кузо вздрогнул.

— Девяносто, — сказал он.

— Так много! — Пиксю покачал рогом. — А ведь можно и быстрее. Если бы у вас был… ну, скажем, корабль, который пройдёт сквозь лёд.

И он рассказал про Чашу. Правил было четыре, и на каждое пиксю загибал по когтю.

Монету в Чашу вечером — к утру золота в трюме вдвое.

Живое Чаша не трогает. Только золото.

Тёплых лап Чаша не терпит.

Фонарь с сердцем открывает только тёплая лапа хозяина.

— Каких лап? — переспросил Брамс и посмотрел на свои.

— Тёплая лапа — значит, сердце на месте, — объяснил пиксю. — А Чаша слушается только того, у кого внутри ничего не болит. Поэтому хозяин печати отдаёт сердце в фонарь. Взамен он получает медную монету с квадратной дыркой. Монета не болит. — Он помолчал. — А кто просто устал тосковать, тоже может отдать мне сердце на хранение. Многие отдали.

Кузо вспомнил бледных матросов со счётами.

— А печать — это что? — спросила Пуговка.

— Знак, которым подписывают приказы. — Пиксю показал кольцо на когте: снизу на зелёном камне был вырезан узор. — Печать была у адмирала. Теперь у меня. Но мне она не служит. Чаша слушает того, кто чего-то хочет. А я давно ничего не хочу. Только есть.

Он посмотрел вверх, туда, где стоял «Сполох».

— У вас есть кое-что, — сказал он мечтательно. — Золотые мачты. Особенно седьмая: я видел её из тумана. У «Чаши» по чертежу девять мачт, а стоит восемь. С девятой она пошла бы куда угодно. Даже сквозь лёд. Я хорошо заплачу.

— Не продаётся, — сказал Барсур. Это были первые его слова в трюме.

— Всё продаётся, — улыбнулся пиксю. — Вопрос в цене.

Пуговка тем временем что-то писала.

— Одна монета, — бормотала она. — Утром две. Потом четыре. Восемь. Шестнадцать… Через десять ночей — больше тысячи. Через двадцать — больше миллиона. Через тридцать… — она подняла голову, и глаза у неё были круглые. — Больше миллиарда. Из одной монеты. За месяц.

— Ледокол стоит меньше, — тихо сказал Кузо.

— Гораздо меньше, — ласково сказал пиксю. — Подумайте. Я никуда не тороплюсь. Я пятьсот лет никуда не тороплюсь.

— Нет, — сказал Кузо. И сам удивился, как неуверенно это прозвучало. — Спасибо за чай. Нет.

Когда они поднимались по лестнице, фонари покачивались. Кузо шёл последним и вдруг остановился у одного, большого, тёмно-фиолетового, в самой середине стены.

Тук.

Он подождал.

Тук.

— Говорю же, — буркнул с плеча Брамса Уголёк. — Никто мне не верит.

Вопрос дня: если золото каждую ночь удваивается, почему пиксю до сих пор не набил им весь трюм?

Глава 4. Монета на верёвочке

Корабли встали борт к борту. «Сполох» рядом с «Полной Чашей» казался лодочкой, которую привязали к дому.

Ночью Кузо не спал.

Он лежал в гамаке и смотрел в потолок. Гамак качался. Брамс за стенкой храпел так, что звенели ложки. А Кузо думал.

Восемьдесят девять дней.

Он думал о кошке с белыми лапами. Никогда её не видел. Не знал, какой у неё голос, пахнет ли она молоком или морем, смеётся ли она. Он знал только, что она ставила зарубки на лиственницах — мерила, каким бы вырос её котёнок. Каждый год. Пока ждала.

Кузо высунул из-под одеяла лапу. Белую. Может, у неё такие же. А может, совсем не такие, и он себе всё придумал.

Когда Кузо думал об этом днём, было просто грустно. А ночью внутри начинало болеть. Не живот, не лапа. Где-то посередине, под шарфом. Тупо и долго, как болит зуб, когда его ещё не лечили.

Кузо встал, накинул шарф и вышел.

Над водой висела луна, большая и жёлтая. По верёвочной лестнице он поднялся на «Полную Чашу» — сам не зная зачем. Просто там горели фонари, а на «Сполохе» было темно.

Палуба была пуста. Матросы спали прямо на досках, обняв свои счёты. На средней палубе стоял каменный колодец — круглый, старый, как во дворе у деда, с воротом и ведром.

Из колодца кто-то вылез.

Это была жаба. Большая, с хорошую тыкву, и вся золотая — не как пиксю, ярко и звонко, а мягко, как старая латунная пуговица. Она выбралась на край колодца, неловко переступая, и Кузо увидел, что лап у неё три. Две спереди и одна сзади, посередине, как хвостик.

Во рту у жабы была монета.

Жаба посмотрела на Кузо, выплюнула монету себе на лапу и сказала:

— Не спится?

— Нет, — сказал Кузо. — А вы кто?

— Цзинь Чань. Жаба. Живу в колодце. — Она поморгала. — Когда-то я была вредная и пряталась на дне. Один весёлый человек выудил меня связкой монет на верёвке. Смеялся долго. Потом мы подружились. Говорят, где я живу, там деньги не переводятся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.